

Генералова
Татьяна

**Астория
Тэйши.**

Под ветвями сакуры

18+

Татьяна Генералова

История гейши. Под ветвями сакуры.

<https://litres.ru/74044989>

SelfPub; 2026

Аннотация

!!!! Настоящее произведение является художественным вымыслом, вдохновлённым реальными историческими событиями. Все персонажи, организации, места действия и описываемые события — результат творческого воображения автора. Любые возможные совпадения с реальными людьми, фактами или географическими объектами носят исключительно случайный характер и не подразумевают какоголибо отождествления с реальными прототипами.

В один из вечеров в традиционный чайный дом, где Мизуки развлекала гостей, зашёл офицер армии США — капитан Эш Скай, лётчик. ...

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Мизуки	18
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Татьяна Генералова

История гейши. Под ветвями сакуры.

Пролог

1947 год, Токио.

Город всё ещё носил шрамы войны — словно заживающие раны. Почерневшие остовы зданий торчали посреди улиц. Там, где раньше шумели торговые кварталы, теперь простирались пустыри, поросшие бурьяном. Но жизнь пробивалась сквозь пепел: на углах улиц появились ларьки с дымящимися мисками лапши, старики раскладывали на тряпицах старые книги и безделушки, дети гоняли самодельные мячи среди руин.

По улицам, ещё не до конца расчищенным от обломков, шагали американские солдаты. Они двигались свободно, почти вальяжно — в выцветших гимнастёрках, с сигаретами в зубах, громко переговариваясь и смеясь. Их тяжёлые ботинки ступали по мостовой так, будто это была их земля. Иногда они останавливались у ларьков, тыкали пальцем в еду,

пытаясь объяснить жестами, и щедро расплачивались хрустящими долларами, которые в те дни ценились куда выше иены.

У лотка с жареными угрями, источавшим аппетитный аромат с дымком, солдаты ненадолго задержались. Старик-торговец, сгорбившийся под тяжестью лет и пережитого, почтительно склонился перед ними, опираясь на край прилавка — его руки, узловатые и покрытые сетью глубоких морщин, слегка дрожали.

Возле старика, чуть поодаль, стояла девушка лет шестнадцати: худенькая, невысокого роста, с тонкими чертами лица и большими тёмными глазами, в которых читалась настороженность. Взгляд одного из солдат — светловолосого, веснушчатого, с беспечной улыбкой на губах — задержался на ней, оценивающе скользнул по хрупкой фигуре. Девушка смутилась, потупила взор и невольно отступила на шаг, наклонив голову так, что прядь тёмных волос упала на лицо.

Старику не понравился этот взгляд — в нём было что-то бесцеремонное, слишком вольное. Он резко обернулся к девушке и тихо, но твёрдо произнёс:

— Мизуки, хаяку! Иэ ни хайтэ! (Мизуки, живо! Войди в дом!)

Девушка встрепенулась, словно испуганная птица, метнула короткий, тревожный взгляд на солдата, затем — на деда. В следующее мгновение она уже исчезла за дверью ветхой лачужки, притулившейся рядом с лотком. Послышался тихий скрип разошедшихся досок и шорох её шагов по земляному полу.

Помедлив, старик распрямил сгорбленные плечи, поднял взгляд и вновь обратился к солдату — в его глазах читалась смесь осторожности и сдержанного достоинства. Тревога за внучку всё ещё сжимала сердце, но он старался этого не показывать. Его голос, тихий и учтивый, дрогнул, выдавая скрытое напряжение:

— Сумимасэн... О-кутаби дэс ка? — он тщательно подбирая слова, затем добавил чуть слышно: — Доко кара дэс ка?.. (Простите... Вы в отпуске? Откуда вы?..)

Светловолосый солдат, не переставая улыбаться, хлопнул его по плечу — дружески, но с той небрежной силой, что выдаёт чувство превосходства. Его движения были широкими, размашистыми, словно он не замечал, как этот жест заставляет старика слегка пошатнуться.

Он протянул несколько купюр, чуть ли не сунул их в ла-

донь старика, и, подмигнув, произнёс:

— Beautiful granddaughter you've got! (Красивая у тебя внучка!)

Старик взял купюры, кивнул с едва заметной горечью и молча принялся отсчитывать угрей, стараясь не поднимать глаз. В воздухе повисло напряжение — вежливость и снисходительность столкнулись с затаённой тревогой и гордостью, которую не могли сломить ни годы, ни обстоятельства. Но когда солдаты отошли, он выпрямился, и маска учтивости слетела с его лица. В глазах вспыхнула боль, а губы дрогнули. Он сжал хрустящие купюры в кулаке так, что побелели костяшки, и прошептал едва слышно, словно обращаясь к самой земле под ногами:

— Коре ва ватаси но куни да... (Это моя страна...)

В старых районах Токио, чудом уцелевших в огне бомбардировок 1945-го, ещё теплилась прежняя жизнь — хрупкая, словно выцветшая шёлковая нить. Узкие переулки, зажатые между обугленными каркасами домов, хранили память о былом: за раздвижными дверями с рваными бумажными вставками прятались чайные дома — островки тишины среди руин.

Здесь время будто остановилось. Приглушённый свет бумажных фонарей мягко ложился на тёмные деревянные панели, в воздухе витал запах благовоний и едва уловимый аромат саке. Шёпот шёлковых кимоно сливался с тихим звоном фарфоровых чашек, напоминая о временах, когда город ещё не знал грохота «Суперкрепостей» и запаха гари, неделями висевшего над кварталами.

За одним из низких лакированных столиков сидела гейша — молодая, с выбеленным лицом, оттенённым алыми губами, и глазами, скрытыми за веером ресниц. Её движения были плавны, как течение реки Сумида, а голос мягок, словно шёлк. Напротив расположился американский офицер — слегка захмелевший, в расстёгнутой гимнастёрке, с бокалом саке в руке. Он смотрел на неё с любопытством иностранца, впервые столкнувшегося с миром, который казался ему одновременно экзотичным и загадочным. На его погонах поблёскивали знаки оккупационной армии — молчаливое напоминание о том, что старый порядок ушёл, а новый ещё только рождался среди пепла и обломков.

— You're so beautiful, really... Like a doll, — восхищённо произнёс он, пытаясь поймать её взгляд. («Вы такая красивая... Прямо как кукла».)

Гейша едва заметно улыбнулась — той улыбкой, которую

учили держать с детства.

— Аригато годзаимас. О-саке о мо:симасу («Благодарю вас. Принести ещё саке?»), — ответила она, ловко подливая напиток.

Он рассмеялся и положил руку ей на плечо. Она не отстранилась — лишь чуть склонила голову, сохраняя безупречную вежливость, отточенную годами обучения. В её поклоне читалась не покорность, а древняя мудрость: не противостоять волне, а скользить по её гребню.

Стать гейшей в те годы было одновременно и спасением, и ловушкой. В городе, ещё не оправившемся от пепла бомбардировок, среди обугленных каркасов домов и длинных очередей за скудным пайком, окия (дома гейш) оставались островками старого мира. Многие семьи, разорённые войной, отдавали дочерей в эти стены в надежде, что так у девочек появится шанс выжить — получить крышу над головой, миску риса и защиту в мире, где женщины без покровительства были особенно уязвимы.

Двенадцатилетняя Мэй, худенькая и бледная, впервые переступила порог такого дома. Её кимоно, когда-то яркое, выцвело до призрачной тени прежних узоров, а сандалии были стоптаны почти до дыр. Мать девушки, с потухшим взгля-

дом, в котором больше не отражалось ни надежды, ни боли, шептала, сжимая холодные пальцы дочери:

— Мэй, коко де ватаси но кокоро о васурэру на... («Мэй, здесь забудь о том, что я твоя мать»).

Голос её дрогнул, но она не позволила слезам пролиться.

Хозяйка окия, сухая женщина с пронзительными глазами, в которых читался расчёт послевоенных лет, осмотрела девочку с ног до головы — не как ребёнка, а как будущий актив в мире, где всё имело свою цену. Наконец, она кивнула:

— Вакарима сита. Има кара аната ва ю:дзё ни нару. («Поняла. С этого момента ты станешь ученицей»).

Мэй не плакала. Она уже знала: слёзы здесь — роскошь. Её научат танцевать под звуки сямисэна так, чтобы гость забыл о руинах за окном; вести беседу так, чтобы он почувствовал себя королём; наливать sake с грацией, достойной древних ритуалов. Но взамен она должна будет забыть о себе — о девочке, которая когда-то бегала босиком по рисовым полям, о дочери, чья мать теперь стояла у порога, превращаясь в смутное воспоминание.

Она глубоко вздохнула, выпрямилась и сделала первый

шаг вглубь дома — туда, где время остановилось, а традиции уцелели, словно бумажные фонари среди пепла. За порогом окия шум послевоенного Токио стих: далёкие гудки грузовиков, обрывки английской речи на улицах, лязг американских джипов по разбитому асфальту — всё осталось позади. Здесь же, в полутёмных комнатах, пахнущих старым деревом и благовониями, по-прежнему царили вековые правила, передаваемые от наставницы к ученице.

Американские солдаты относились к гейшам по-разному. Одни, только прибывшие из Штатов, видели в них экзотическую диковинку — живых кукол из сказки, которых можно разглядывать, угощать конфетами из пайка, фотографировать на «Кодак», заставляя улыбаться в объектив. Они восхищались выбеленными лицами, причудливыми причёсками и шелестом шёлковых кимоно, не понимая, что перед ними не забавная игрушка, а хранительницы искусства, оттачиваемого веками.

Другие — те, кто провёл в Азии не первый месяц, — начинали чувствовать глубину этой традиции. Они замечали безупречную точность движений, когда гейша наливала сакэ, улавливали тонкий юмор в её словах, понимали значение каждого жеста. Такие офицеры приходили в чайные дома не за развлечением, а за покоем — и относились к женщинам с уважением, достойным древней профессии.

Но были и те, кто воспринимал их просто как развлечение, не задумываясь о том, что за улыбкой и поклоном скрывается целая вселенная правил и запретов. Для них гейша была частью экзотического колорита побеждённой страны. красиво, необычно, но лишено внутренней ценности.

Они не видели, что под слоем белил и алой помадой — судьбы девочек вроде Мэй, отданных в окия, чтобы просто выжить в городе, где ещё не убрали последние руины после бомбардировок, а рис выдавали по карточкам. Не понимали, что изящный поклон — это годы тренировок, а улыбка — выученный щит, за которым прячутся страх и усталость.

Для этих людей гейши были лишь доступными девицами, которых было полно на улицах их страны — в барах Нью-Йорка, на пляжах Калифорнии, в дешёвых кабаре Чикаго. Там они привыкли видеть женщин, чья профессия не требовала ни искусства, ни дисциплины, ни многолетней выучки. Там «развлечение» было простым и понятным.

Здесь, в разрушенном Токио, всё казалось таким же: загадочная, экзотическая версия привычного. Они не видели разницы. Для них кимоно — просто яркая одежда, сямисэн — забавная гитара, а гейша — та же официантка, только с выбеленным лицом.

Вечер окутал улицы Токио пеленой промозглой сырости. Фонари едва пробивались сквозь туман, отбрасывая дрожащие круги света на мокрый асфальт. Вдалеке, за руинами сгоревших домов, слышался гул американских грузовиков и обрывки английской речи.

Гейша Юрико шла по улице после выступления в чайном доме — её шаги, размеренные и лёгкие, едва звучали на разбитом тротуаре. Она куталась в тёмное кимоно, стараясь укрыться от пронизывающего ветра и чужих взглядов. Но двое подвыпивших солдат в форме оккупационных войск преградили ей путь, загородив узкий проход между полуразрушенными зданиями.

— Hey, pretty lady! Come with us! («Эй, красотка! Пойдём с нами!») — заржал один, схватив молодую женщину за руку и резко притянув к себе. Его дыхание пахло виски и дешёвой сигаретой, а пальцы впились в её запястье, оставляя синяки.

Второй солдат, покачиваясь, хохотнул и добавил что-то по-английски — Юрико не разобрала слов, но насмешка в его голосе была очевидна. Не показывая своего страха — хотя сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот вырвется из груди, — она подняла взгляд и посмотрела прямо в глаза первому солдату. Её лицо оставалось бесстрастным, словно

вырезанным из слоновой кости, а осанка — прямой и гордой. Чётко и холодно она произнесла:

— Ясу ме-те итадакимасу. («Буду признательна, если вы отпустите меня».)

Её голос прозвучал так, что солдаты на мгновение замерли. Они не поняли слов, но тон был ясен: в нём звучала не мольба, а достоинство.

Они переглянулись — и снова раздался смех, на этот раз ещё более грубый и развязный. Окружив её плотным полукругом, они загоняли Юрико к стене полуразрушенного дома — пути к отступлению были отрезаны.

Один из солдат, ухмыляясь, сделал шаг вперёд. Юрико невольно отпрянула, но упёрлась спиной в кладку — дальше отступить было некуда. Кирпичи стены, шершавые и покрытые копотью, впивались в спину, напоминая о бомбардировках, превративших некогда оживлённый квартал в лабиринт руин. Фонарь над головой дрожал и мигал, отбрасывая на асфальт рваные тени, которые, казалось, тоже издевались над ней, искажая фигуры солдат в гротескные силуэты. Смех звучал всё громче, заполняя собой тишину между руинами, — он эхом отдавался в ушах, заглушая биение её сердца.

Первый солдат, не переставая ухмыляться, резким движением распахнул кимоно на груди, разрывая слои тонкого шёлка и оби. Ткань разошлась, обнажая плечо и часть спины — бледную кожу, контрастирующую с чёрным цветом разорванного кимоно.

Второй, хрипло хохоча, схватил подол и рванул вверх, бесцеремонно лапая оголившиеся бёдра. Его пальцы, грубые и шершавые, царапали кожу, словно напоминая, что здесь нет места изяществу и традициям. В воздухе повисло тяжёлое дыхание, запах пота и дешёвого табака смешивался с тонким ароматом благовоний, ещё державшимся в складках её одежды.

Солдаты толкали её, хватали, грубо дёргали за рукава, пытаясь сорвать последние остатки одежды. Их смех звучал всё громче, а руки становились всё наглее. Юрико закрыла глаза на мгновение, глубоко вдохнула и стиснула зубы. Её пальцы непроизвольно сжались, но не в страхе, а в упрямой решимости. Она не кричала — крики здесь не имели силы. Вместо этого она мысленно перенеслась в окия, вспоминая плавные движения танца, мелодию сямисэна, уроки наставницы о том, как сохранить лицо в любой ситуации.

В её сознании всплыли слова: «Улыбка — это щит, вежливость — доспехи». И даже сейчас, в этой грязи и униже-

нии, она цеплялась за них, как за последнюю опору.

Фонарь мигнул в последний раз и погас, погружая переулок во тьму, лишь отдалённые звуки города напоминали, что жизнь где-то продолжается — там, за пределами этой узкой щели между руинами.

Добившись своего, солдаты отступили. Один из них, застёгивая ремень, бросил небрежно:

— Here, for your trouble. («Вот, за хлопоты».)

И кинул несколько купюр на землю рядом с Юрико. Бумажки, шурша, упали на мокрый асфальт — грязные, мятые, как и всё, что только что произошло.

Юрико осталась лежать там, среди руин и пепла, в разорванном кимоно. Она медленно подняла голову. Взгляд её был пустым, но в глубине глаз тлела искра — не ненависти, а упрямой, неsgiбаемой воли. Она знала: завтра снова наденет кимоно, нанесёт белила, улыбнётся гостям и будет танцевать. Потому что иначе нельзя. Традиция должна жить, даже если её хранительница чувствует себя фарфоровой куклой с трещиной внутри.

Она приподнялась, дрожащими пальцами подобрала ку-

пюры и сжала их в кулаке. Затем, опираясь о стену полуразрушенного дома, встала. Выпрямилась. И, не оглядываясь, пошла прочь — туда, где в окне окия мерцал мягкий свет бумажного фонаря.

Токио 1947 года жил на стыке двух миров. Где-то на пустырях, выросших на месте сгоревших кварталов, смеялись дети, запуская воздушных змеев над грудami битого кирпича и обугленных балок. Где-то звенели чашки в уцелевших чайных домах — их владельцы экономили каждый грамм чая, разбавляя заварку, но ритуал оставался незыблемым. За стенами доносились тихие песни гейш, исполняемые под аккомпанемент сямисэна. А где-то на окраинах ветераны войны в потрёпанных мундирах молча смотрели на американских солдат в блестящих ботинках, жующих жвачку и смеющихся над чем-то своим. Они курили дешёвые сигареты, щурились на солнце и думали о том, какой будет их страна.

Глава 1. Мизуки

Холодной ночью 1947 года на окраине разрушенного города из покосившейся лачуги, чудом уцелевшей после бомбардировок, вдруг раздался глухой протяжный стон — он резко вырвал Мизуки из сна. Вздрогнув, она распахнула глаза; сердце забилося чаще. Звук доносился из тёмного дальнего угла хижины.

Мизуки лежала на тонком матрасе, вокруг царила крошечная тьма, лишь бледный лунный свет робко пробивался сквозь щели в ветхих стенах, рисуя на полу неровные серебристые полосы.

В углу на полу лежал старик, рука судорожно сжимала грудь. Его дыхание было прерывистым и хриплым — каждый вдох давался с неимоверным усилием, словно борьба за глоток воздуха отнимала последние силы. Ещё не до конца очнувшись ото сна, Мизуки не сразу осознала, что эти страшные звуки издаёт её дед.

— Дедушка? — прошептала она дрожащим голосом.

Она рывком вскочила на ноги, споткнулась о край матра-са и едва не упала. В полной темноте огляделась, пытаясь привыкнуть к ней и разглядеть хоть что-то. В воздухе витал тяжёлый запах сырости и пепла — горькое напоминание о пожарах, поглотивших большую часть города.

. Мизуки едва исполнилось шестнадцать, когда судьба обрушила на неё всю тяжесть утраты. Отец погиб на войне — она так и не узнала, где его могила. Дом, их семейное гнездо, сгорел во время бомбардировок, превратившись в грудку обугленных балок и пепла. А мать, истощённая голодом и болезнями, угасла тихо, почти незаметно, в холодном углу у соседей, приютивших их.

Дед, суровый, но добрый человек с морщинистым лицом и глазами, полными невысказанной печали, забрал внуку к себе — в крошечную лачужку на окраине Токио. Дом стоял на отшибе, словно забытый всеми: покосившаяся крыша, стены, прогнившие от сырости, и пол, жалобно скрипевший при каждом шаге. Но для Мизуки он стал последним убежищем — хрупким островком безопасности в бушующем море разрушений.

Они ютились вдвоем, деля последние крохи еды. Дед торговал угрями: ловил их в мутной реке неподалёку и продавал на рынке. Каждое утро он уходил ещё до рассвета, а возвращался, когда солнце уже клонилось к закату, — с усталой улыбкой и парой монет в кармане, которых едва хватало на пропитание.

На улице дед старался держаться бодро, демонстрируя негибкую выправку. Он приветливо кивал прохожим, но при виде американских солдат — в форме или без — в его взгляде мелькала тень, а улыбка гасла, едва успев появиться.

— Добрый день, господин! Свежие угри, только из реки! — звучал его хриловатый голос, бодрый и настойчивый, но в нём теперь угадывалась едва заметная фальшь. — Возьмите, не пожалеете!

Солдаты порой останавливались, шутили, а кто-то щедро платил — больше, чем стоили угри. Дед кланялся, благодарил, прятал монеты в потрёпанный кошелёк и выдавливал улыбку. Однако внутри всё сжималось от горечи: эти подачки казались ему насмешкой над его бедой, напоминанием о том, что мир уже не будет прежним.

Поздно ночью, когда Мизуки притворялась спящей, он са-

дился у очага. Глядя на угасающие угли, дед вдруг менялся до неузнаваемости: лицо темнело, плечи опускались под невидимой тяжестью, а голос, обычно такой бодрый, становился жёстким и горьким — словно проржавевшим от времени, боли и невысказанных упрёков.

— Проклятые американцы — шептал он, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. — Зачем вы пришли в мою страну? Зачем разрушили всё, что мы строили поколениями? Мои сыновья погибли, дома сожжены, люди голодают. А вы ходите тут, раздаёте подачки, будто это может всё исправить!

Мизуки слышала эти слова сквозь тонкую перегородку — каждое отдавалось в груди тупой болью, словно удар в самое сердце. Сердце её сжималось, а взгляд невольно падал на потрескавшуюся стену, где висела старая фотография их семьи: отец в военной форме, мать с улыбкой, дед, ещё крепкий и бодрый, и она сама — совсем маленькая, с косичками, беззаботно смеющаяся в объектив.

Она не знала, что ответить, как утешить деда, чьи горькие слова эхом отзывались в их скромной лачуге. Вместо слов Мизуки бесшумно поднялась, на цыпочках подошла к перегородке и прижалась к ней лбом, словно так могла передать ему хоть каплю своего тепла. И просто стояла молча, слушая

его прерывистое дыхание по ту сторону — неровное, прерывающееся, как и сама их жизнь.

А утром, едва проснувшись, она уже суежилась по дому: подметала пол, раздувала огонь в очаге, чистила угрей. Каждое движение было наполнено тихой решимостью — она должна была помочь, должна была поддержать.

Однажды утром, когда дед особенно тяжело вздохнул, глядя на скудный завтрак — пару картофелин и горсть риса, — она подошла к нему и тихо сказала:

— Дедушка, я пойду с тобой на рынок. Буду помогать. И может, я смогу что-то продать сама. Я умею плести венки из бамбука — девочки в школе говорили, что у меня хорошо получается.

Дед поднял на неё глаза — в них мелькнуло удивление, а потом тёплая, почти детская гордость, осветившая его измождённое лицо.

— Ты совсем взрослая стала, — хрипло произнёс он, погладив её по голове. — Моя маленькая помощница. Но будь осторожна, хорошо? Мир сейчас неласковый.

Когда старику стало хуже, мир вокруг словно потемнел и

замедлил ход. Он всё чаще хватался за сердце — коротко, резко, на мгновение замирая с искажённым лицом, а потом, отдышавшись, делал вид, будто ничего не случилось. Никогда не жаловался, даже когда по ночам Мизуки слышала, как он тихо стонет за тонкой перегородкой, стараясь заглушить боль подушкой, чтобы не тревожить её сон.

Они перестали ходить на рынок — путь туда и обратно отнимал слишком много сил, которых у деда оставалось всё меньше. Теперь торговали прямо возле своей лачуги: поставили у дороги старый деревянный ящик, покрытый потрёпанной циновкой, разложили на нём угрей, несколько пучков зелени и пару глиняных горшков — всё, что удалось раздобыть.

Мизуки вставала на рассвете, заваривала горький травяной чай, который, по словам деда, «укрепляет сердце». Потом помогала ему выйти на улицу, усаживала на низенькую скамеечку в тени дома, укутывала плечи старым пледом — несмотря на весну, дед всё время мёрз, словно холод проник в самую его душу.

— Сегодня ты остаёшься за главную, — хрипловато шутил он, пытаясь улыбнуться. — Смотри, чтобы никто не украл наших угрей. Хотя кто их украдёт — они и так тощие и неприглядные, как мои старые удочки

Мизуки кивала, стараясь не показывать, как дрожат её руки. Она расставляла товар, раскладывала зелень так, чтобы выглядела аппетитнее, и вставала рядом, робко улыбаясь прохожим:

— Свежие угри, только из реки! Всего пара монет

Иногда кто-то останавливался — солдат с усталыми глазами, женщина с ребёнком на руках, старик, опирающийся на палку. Они покупали, кивали, благодарили. Мизуки смотрела, как дед следит за ней из-под полуопущенных век, и ловила в его взгляде гордость — тихую, сдержанную, но оттого ещё более дорогую, как драгоценный дар.

По вечерам, когда последние лучи солнца окрашивали небо в багряные тона, она помогала деду вернуться внутрь. Он тяжело опускался на циновку, закрывал глаза, а Мизуки садилась рядом, брала его руку — сухую, жилистую, с выступающими венами, испещрённую морщинами прожитых лет — и держала, пока он не засыпал.

Однажды вечером, когда дождь стучал по крыше, как тысячи крошечных пальцев, дед вдруг открыл глаза и тихо произнёс:

— Знаешь, Мизуки Я всегда думал, что самое главное — это выжить. Пережить войну, голод, разруху. А теперь понимаю: главное — оставить после себя что-то светлое. Ты ты и есть это светлое.

Её глаза наполнились слезами, но она улыбнулась — мягко, сдержанно, с внутренней теплотой, которое согревало даже в самые холодные дни.

— Мы ещё с тобой на рынок вернёмся, — прошептала она. — Вот увидишь. Ты поправишься, и будем торговать, как раньше. А потом потом я научусь ловить угрей сама. И буду приносить тебе самые жирные!

Дед хрипло рассмеялся, и этот смех, пусть слабый, прозвучал для Мизуки как самая прекрасная музыка, которую она когда-либо слышала. Её взгляд невольно упал на угасающие угли в очаге — они мерцали последними искрами, точно так же, как жизнь в теле деда. И тогда она поняла: это был последний их вечер.

Дрожащими руками она нащупала путь к деду и опустилась рядом с ним на колени.

— Дедушка, — тормошила она старика, схватив его за плечи. — Проснись! Пожалуйста, проснись!

Но он больше не издал ни звука. Его рука безвольно упала, глаза были закрыты, а лицо приобрело сероватый оттенок.

— Нет — прошептала Мизуки, чувствуя, как слёзы обжигают щёки. — Дедушка, не оставляй меня одну!

Она просидела возле него всю ночь и первую половину дня, не выходя из разрушающейся лачуги. Доски стен скрипели на ветру, словно жаловались на свою участь, а сквозь щели пробивались холодные струи воздуха, но она не замечала ни сквозняка, ни усталости, ни голода.

Мизуки сидела, сжимая его холодную руку — такую безжизненно холодную, что сердце сжималось от боли. Пальцы её дрожали, но она всё равно держала его ладонь, словно пытаясь передать хоть каплю своего тепла, вернуть к жизни. Время потеряло смысл: минуты тянулись, как часы, а часы сливались в бесконечность.

— Пожалуйста — шептала она бессвязные слова, то умоляя, то уверяя, то вспоминая что-то давнее. — Помнишь, как мы прятались под мостом от дождя? Ты тогда сказал, что гроза — это просто небо злится, но скоро оно успокоится А помнишь, как ты нашёл тот старый компас? Говорил, что он укажет нам дорогу куда угодно Куда угодно, слышишь? Так почему же сейчас ты не можешь просто открыть глаза? Просто отзовись

За окном медленно занимался рассвет — бледный, туманный, как и надежды на лучшее будущее. Серое небо нависло над руинами города тяжёлым покрывалом, придавливая к земле остатки былой жизни. Разбитые стены домов зияли чёрными провалами окон, словно раны, не желающие заживать. Улицы, когда-то оживлённые и шумные, теперь были пустынные и безжизненны.

Редкие прохожие, бредущие по разбитым мостовым, казались призраками в этой послевоенной пустоте. Они передвигались медленно, опустив головы, будто боялись увидеть то, что осталось от их мира. Кто-то нёс узел с пожитками, кто-то просто бесцельно брёл, пошатываясь от усталости и отчаяния. Их шаги глухо отдавались в тишине, нарушая лишь изредка карканье вороны, усевшейся на обломок забора.

То, что происходило за пределами лачуги, больше не име-

ло для Мизуки никакого значения. Весь её мир сейчас умещался в этом маленьком пространстве, в этом человеке, чья рука всё ещё лежала в её ладони. Она продолжала шептать — и в каждом слове, в каждом прерывистом вздохе была отчаянная, почти безумная надежда.

— Ты не можешь так со мной Не можешь оставить меня одну в этом мире, который и так слишком жесток. Пожалуйста, вернись. Я не справлюсь без тебя.

Солнце наконец пробилось сквозь тучи — слабый, неуверенный луч упал на лицо лежащего, осветив черты, ставшие вдруг такими отчётливыми и родными. Она замерла, затаила дыхание, вглядываясь в неподвижные черты, ловя малейшее движение, малейший признак жизни. Но ничего не изменилось. Только луч скользнул дальше, оставив после себя ещё более густую тень.

А она всё сидела, сжимая холодную руку, и всё ещё шептала — снова и снова, пока голос не стал совсем тихим, почти неслышным.

Только к полудню в дверь лачуги постучали. Это была её тётя — бывшая майко, которая теперь блистает в квартале Гион. Она часто приходила к ним, принося что-то из еды, а изредка — из одежды. Её кимоно, хоть и потрёпанное, всё

ещё хранило отблески былой красоты, а в глазах читалась усталость, смешанная с решимостью.

Юрико вошла, окинула взглядом недвижимого старика и сразу всё поняла. Её лицо на мгновение исказилось от боли, но она быстро взяла себя в руки.

— Мизуки, — тихо сказала она, присаживаясь рядом с племянницей и осторожно кладя руку ей на плечо. — Мне очень жаль. Но теперь мы остались вдвоём.

Мизуки подняла на неё заплаканные, опухшие глаза.

— Что мне делать, тётя Юрико? — голос её дрожал. — Я не знаю, как жить дальше

Тётя вздохнула, посмотрела в окно, на разрушенный город, и повернулась к ней. Её взгляд был твёрдым, но в нём читалась искренняя забота.

— У нас нет выбора, — сказала она жёстко, но честно. — Ты станешь гейшей, как я. Это единственный способ выжить. В Токио сейчас тяжело, но в Гионе ещё теплится жизнь. Я помогу тебе. Мы сделаем всё, чтобы ты нашла своё место.

Мизуки молча смотрела на неё, чувствуя, как страх смешивается с отчаянием. Стать гейшей Это означало, что её судьба больше не будет её собственной — она станет изящной маской, танцующей в такт чужой воле. Отныне её судьба будет расписана по канонам чайного дома. Ни единого шага без дозволения, ни единой мысли без оглядки на традиции. Но другого пути действительно не было.

— Я я попробую, — прошептала она, сжимая руку тёти.
— Если другого пути нет

Тётя кивнула, обняла её за плечи и притянула к себе.

— Всё будет хорошо, — тихо сказала она. — Мы справимся. Вместе.

За окном ветер гнал по улицам обрывки газет и пепел, а над Токио опускались сумерки — первые в её новой, неизведанной жизни.

Так Мизуки попала в окия — дом гейш, где её начали обучать древнему искусству. Дни сливались в бесконечную череду уроков: танцы, игра на сямисэне, каллиграфия, чайная церемония, искусство беседы. Она училась улыбаться, даже

когда хотелось плакать, и быть грациозной, даже когда ноги дрожали от усталости.

Каждое утро начиналось с холодной воды и медитации. Мизуки, дрожа от ледяных брызг, смывала остатки сна, а затем усаживалась на циновку, стараясь успокоить дыхание и мысли. В эти мгновения мир вокруг словно замирал — только шелест бамбука за окном да далёкие крики птиц напоминали, что жизнь течёт дальше.

Тётя, госпожа Юрико, следила за каждым движением Мизуки: прямая спина, сложенные руки, взгляд, устремлённый в одну точку. Строгая, но справедливая, она не жалела ни слов, ни веера — лёгкого, но ощутимого напоминания о том, что любая ошибка заметна.

— Осанка — это душа женщины, — повторяла она, постукивая веером по спине племянницы. — Помни: ты не просто служишь гостям. Ты создаёшь красоту, которая исцеляет. В ней — сила, способная успокоить бурю в сердце самурая и развеять печаль торговца.

Мизуки впитывала эти слова, как сухая земля — дождь. Она кивала, стараясь запомнить каждое движение, каждый оттенок интонации.

— Да, госпожа Юрико, — тихо отвечала она, выпрямляя спину ещё сильнее. — Я постараюсь.

— Постараться мало, — строго заметила тётя. — Нужно быть. Быть тем, кто несёт красоту в мир. Скажи мне, что ты видишь, когда смотришь в зеркало?

Мизуки подняла глаза к небольшому бронзовому зеркалу на столике. В нём отражалась юная девушка с бледным лицом и тёмными кругами под глазами — следы бессонных ночей и изнурительных тренировок.

— Я вижу ученицу, которая ещё многого не умеет, — честно призналась она.

Госпожа Юрико вздохнула, на мгновение смягчившись.

— Зато ты видишь правду. Это уже половина пути. Теперь научись видеть в себе не усталость, а силу. Не слабость, а стойкость. Помни: даже сакура цветёт после суровой зимы.

В тихие часы, когда окия засыпал и в коридорах воцарялась благословенная тишина, Мизуки выходила на веранду. Она садилась у перил, поджав ноги, и смотрела на одинокую сакуру во дворе. Дерево было старым, почти без листьев, с корявыми ветвями, изборождёнными временем. Но каждую

весну на нём появлялись розовые цветы — нежные, хрупкие, будто сотканные из утренней зари.

«Как странно, — думала Мизуки, вглядываясь в силуэт дерева. — Оно такое старое, такое израненное а всё равно цветёт. Снова и снова».

Она обхватила колени руками, чувствуя, как ночной ветерок ласкает лицо. Где-то далеко крикнула ночная птица, и этот звук, одинокий и пронзительный, отозвался в душе девушки.

— Ты тоже не сдаёшься, — прошептала она, обращаясь к сакуре. — Значит, и я не сдамся.

Мизуки закрыла глаза, вдыхая прохладный воздух, наполненный запахом влажной земли и едва уловимым ароматом будущих цветов. В этот миг она почувствовала что-то новое — не усталость, не страх, а тихую, но твёрдую решимость. Жизнь продолжается. И она будет цвести, как эта сакура, — вопреки всему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.